

И Господа, и Дьявола /Хочу прославить я.

В. Брюсов

*Никто ещё, распадаясь духовно, не
сложился в художника.*

Г. Иванов

*Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились –
Значит, ангелы жили в ней.*

С. Есенин

Где-то под конец жизни он напишет письмо абсолютно не любимому В. Яновскому с подобострастной, но, конечно же, лживой похвальбой его «Американского опыта» и намёком устроить французский перевод исключительно с одной лишь целью: выпросить у того хороший отрез сукна... «Ему ничего не стоило врать, шантажировать, предавать», – злобно скажет потом в ответ Яновский.

Избранным обладателям мучительно болезненного визионерства – дара «двойного зрения» – новые видения кажутся «незаконченными, нелепыми, фантастическими. Призраками или галлюцинациями расстроенного воображения» (Лев Шестов). Эти видения-призраки – надвигающиеся чёрные видения «русских берёз в левитановски ясном покое». Призраки Судейкиной, Ахматовой, Паллады «на петербургском льду», стоящие у постели «огнеликие», зловещие, молящие о жизни, грозные «под луною».

Эти видения монархов, бледнеющих «в мареве зари» – в контексте тотальных утрат, – обрушиваются на поэта бременем невыносимой жизни под знаком «улыбающейся» Смерти, выводят его за рамки обыденной картины мира, до болезненности «обостряя стремление выразить в слове то, что недоступно привычному взору» (Н. Грякалова).

Иванов-рассказчик, псевдоинок, и смысл бы с Паллады белила и румяна, толстый слой клоунского грима; снял бы костюм, слов-

но сошедший с полотен любимейшего им живописца Ватто... Но «что же тогда останется?» – спрашивает он сам себя.

«В его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии – котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, лёгкий запах аптеки, пробор до затылка, – изгибаясь, едва не касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче прознося слова, шепелявя теперь уже не от природы, а от отсутствия зубов», – описывает Нина Берберова послевоенного Г. Иванова, до конца дней не изменявшего своему гардеробу, – поэтическому и повседневному, – из шёлка, атласа,



бархата, сукна, ситца, батиста, порфира, кисеи, муара и кружев. Его, не выходящего из привычной роли Иванова-«Баронессы» времён эгоцентричной, эгофутуристичной молодости, когда небо виделось «слегка декадентским», юноши – милы и неупрямы, а не к месту привязавшемуся старому хрычу-снобу отпор был один: «Увы, сеньор, моя специальность – дамы!».

Вернёмся, кстати, к сияющему головокружительному началу...

1911 г. Ему всего семнадцать. Первая книга, вторая...

Феноменальный будущий летописец литературно-богемной жизни Петербурга, Г.И. прорывается к своему собственному, такому далёкому, пока ещё галактическому «я» через почти «физическое ощущение недовольства», через несносное эпигонство и тематическую подражательность, ахматовскую описательность и мандельштамовскую безмятежность.

Ну, скажите, пожалуйста, как можно было пробить прямо-таки железобетонную поэтическую вселенную, состоящую из могучего Ректората Академии Эго-поэзии и целого ряда «планет» типа А. Блока с его «чёрной музыкой», Вяч. Иванова, «нескучного» Ф. Сологуба, ядовитого Мандельштама, М. Кузмина, «классика» Скалдина, Н. Гумилёва, дорого «продавшего жизнь». Последний из которых похвалил и даже нашёл «смелые попытки» в неожиданных темах начинающего поэта и изящные, безус-

ловно пушкинские «глуповатость» и «мелочность», погружённые в детальные описания книжных украшений, фламандских панно, фруктов и пожелтевших гравюр. Хотя в итоге всё-таки будто выпорол: «Иванов не мыслит образами, я боюсь, что он вообще никак не мыслит. Но ему хочется говорить о том, что он видит». А видит он именно то, что «красиво, недорого и удобно», – резюмирует Ходасевич разгромный приговор Гумилёва. (Гумилёв «вообще» – то хвалил, то ругал. – Г. И.) Третья книга, многословная и ура-патриотическая (1915), и вовсе была провальной...

Во всяком случае, он замечен и отмечен. (Эгофутуристами, символистами, акмеистами.) Очень насыщенно печатался. Редактировал.

1916 г. Чует, кончиками пальцев чувствует «холод черноты», крах старой России: «Скоро, о скоро падёшь бездыханным». Он видит бессмысленность происходящего вокруг: «...что ж, ужинать, или ещё сочинять стихи?» – сетует он в безобидной интерпретации Фёдора Михайловича («Свету ли провалиться или вот мне чаю не пить?»). Но... Страна шла в одном направлении, в сторону красного террора, алчущего «кровавой пищи». Иванов же – туда, где не создаются моды, а властвует абсолютная отрешённость от проблем, кичливо повенчанное будничным, повседневным, частным, повенчанное внезапной «таврической» любовью, в конце концов:

*О разве мог бы я, о посуде сама,
В твои глаза взглянуть и не сойти с ума.*

К **1920-му** году он уже «образцовый», изысканный поэт. Критик, прозаик, эссеист. С остро отточенными иронией, вкусом, мерой. Со своею причудливо-синтетической художественнической вселенной зрелого акмеиста – и далее постакмеиста (возглавлявшего 2-й «Цех поэтов» – в «тени» Гумилёва): «Жорж превратился в Георгия, фамилия – в имя, ребёнок – в мудреца...» (Северянин о последних петербургских сборниках Г.И. «Сады» и «Лампада»).

Иванов – активный переводчик, «тоскующий по мировой культуре» (Мандельштам), – Байрона, Кольриджа, обожаемого Бодлера, которым он категорически и эмпирически мыслит... Правда, до блеска и всплеска «Роз» ещё далеко. Но заработок литературным трудом вполне оправдан сверхпрофессиональным, великолепнейшим сплетением эстетических метаморфоз с мотивами Евангелия, греческой мифологии с утончённым веком барокко и песнями Оссиана, русского сказочного фольклора с немецким романтизмом.

*Меня влечёт обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор,
И полночи сапфировая риза
Над нами раскрывалась, как шатёр.*

Для Г. Иванова, выросшего на пророчествах и нравственных императивах Леонтьева, Тютчева и Достоевского, расстрел Гумилёва, познакомившего его с питерским литературным миром, становится последней каплей, державшей в России. Пережив арест и обыск, предпочтя единственно возможный для себя исход – участь добровольного изгнанника, не найдя в себе никаких внутренних моральных оправданий сопротивляться, подобно Мандельштаму: в лоне церкви родной культуры, охраняемой «чекистами-пушкинистами», до конца дней оставшись болезненно, наркотически зависимым от живительной атмосферы лёгкого «божественного» десятилетия 1910 – 20-х гг. с его иронически-философским «духом мелочей» и дыханием скорой апокалиптической грозы.

Вот бы нам, нынешним, одного подобного, аки Иванов, небожителя-мемуариста, служителя-хранителя Мнемозины. Только выбирай период, брат: 1990–2000 гг., 2000–2010 и *т.п.* Вот была бы бомба! Но отвлеклись...

Уже потом, позднее, он сублимирует грустные воспоминания о старом приятеле в полусонный бред о странном гумилёвском сапожнике, философе и чертопоклоннике, подкинувшем хозяину пророческий листок с молитвой поклонения Люциферу (в «Петербургских зимах»). Тем самым, как и вообще в творчестве, уравнивая в правах доподлинно знакомых особ с литературными фантомами. С выдумкой. Грёзами. Снами.

...«Есть воспоминания – как сны. Есть сны – как воспоминания. И когда думаешь о бывшем “так недавно и так бесконечно давно”, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны», – пишет он, превращая свою жизнь... в легенду.

А ведь «легенда не ошибается!» – словно подтверждает его слова Флоренский. А Бердяев тезисно резюмирует: «Миф не означает чего-то противоположного реальному, а, наоборот, указывает на глубочайшую реальность».

В Париже, став одним из самых заметных лиц и центров притяжения русской эмиграции, создаёт превосходную галерею литературных портретов современности и современников (около 120 персонажей на трёхстах страницах). Заложив основу, основание блистательной мемуаристики Пяста, Лившица, Чулкова, С. Маков-

ского. Ахматовой, наконец. Это и учитель-Блок. Есенин – «Пушкин наших дней». Хлебников, Северянин в «приличном пальто». Полузабытый Садовской, Тиняков, «член союза Михаила Архангела», что вызвало немалые споры на родине. «Сплошное враньё!» – негодовала Анна Андреевна.

Но, к слову, Иванов и не скрывал своего страстного увлечения художественностью в описаниях. «...в одну из ночей, когда мы сидели где-то за столиком, вполне трезвые, и он всё время теребил свои перчатки, Иванов объявил мне, что в “Петербургских зимах” семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять – правды», – вспоминает Н. Берберова, супруга В. Ходасевича («непримиримого» недруга – Г.И.). Добавлю от себя, что и Блок мог бы обойтись без ежечасного всенепременного стаканчика вина из шкапа, как с умилением рассказывал о нём Георгий Владимирович.

Даже в реальной ситуации, связанной с участием в одной истории уголовного характера, он вплетает в своё оправдание прецедентную ссылку на Достоевского, мистически подчёркивая вымышленный характер обвинения: «“Убийство” старухи происходило в конце февраля 1923 года – Ваш же покорный слуга уехал за границу в октябре 1922...».

В лирике же и подавно, являя читателю многоуровневый, многослойный щегольской маскарад-буффон, «предсмертное празднество», смысловое и театральное, полное сюжетно-биографических и стилистических намёков и изысков: из широких крылаток, плисовых шароваров, манжеток от «Линоль», шляпок, муфт и лорнеток – непременных атрибутов культуры Серебряного века, пожираемого пламенем дендизма.

Так, по Иванову, Кузмин резко падал в творчестве, ежели переставал менять цветные жилеты. А Бенедикт Лившиц не стал королём футуристов только лишь потому, что носил немодные, не футуристические котелок и гетры. Тут и «Бродячая собака» – богемное сборище поэтов-пьяниц – с незабвенным и неизменным пианистом Цибульским, заливающим клавиши слезами и ликёром.

Башня-собор Вячеслава Иванова. И обманчивые «Китайские тени», – наиправдивейшая по тону летопись, – несмотря на игру фантазии и некоторые мелочи-нестыковки, по словам любимого в прошлом «заклятого друга» и соратника, одного из двух неразлучных «Жоржиков» – Г. Адамовича.

Это было нескончаемое оргиастическое жизненно-литературное действие, трансформирующееся в дионисийские проекты и

автомифы, самопрезентуемые поэтами жадной до безумств предвоенной публике: жёлто-лимоновый Маяковский, «античный» Волошин, «прокажённый Пьеро» Лившиц, олонецкий гуслир Клюев. Пяст, «носивший канотье чуть ли не в январе». Тиняков, спьяну напяливающий шубу летом. Все бесконечно переодеваются, переодеваются... «Притворяются, кривляются, носят маски» (О. Елагина), изобличая собой гоголевские подмены, подмены, подмены...

Когда заместо воображаемого ослепительного дворца великого мэтра Северянина, называвшего Г.И. «мой тоненький кадетик», ты заходишь в сырую грязную маленькую квартирёнку: с «лакеем» – старушкой с руками в мыльной пене – и кронпринцем-Северяниным, пробирающимся меж кипящих и чадящих кастрюль. Так же и с Кульбиным, Садовским и др.

В сартровской трактовке, к примеру, это звучало так:

«Вглядываясь в своё отражение, он подвергает свои чувства и мысли одной и той же операции – он их наряжает и накрашивает так, чтобы они казались ему чужими» (Сартр о Бодлере). «Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья», – вторит ему Иванов, иронизируя, авантюризируя и... притворяясь.

Превращая своё кажущееся смертельным отчаяние в эффект “зеркальной бесконечности”» (А. Аксёнова).

*Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья...»*

*Мне говорят — ты выиграл игру!
Но всё равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато как человек я умираю.*

В дальнейшем сартровская «Тошнота», написанная в один год с ивановским «Распадом...», будут перекликаться метафизическими законами бодрствования и сна, жизни и смерти, искажая перспективы мира как самих писателей, так и читателей своими абсурдностью и онтологической затерянностью во вселенной, не подвластными материалистическому описанию.

Хотя даже сартровский трагизм для Иванова слишком оптимистичен. Ведь «от смерти не выздоравливают» (Вейдле):

*Конечно, есть и развлечения:
Страх бедности, любви мученья,*

*Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.*

...предсмертную записку оформив (самоубийство литературного «атома») на имя «многоуважаемого господина комиссара», занимающего в мире уродства, страха и тоски место Бога.

1930 г. Рождается мифологический «Третий Рим», впоследствии неоконченный. Пишутся многочисленные новеллы и рассказы. Сборник «Розы» разом ставит его на первую ступень поэтического мастерства.

«Сгоревшее, перегоревшее сердце – вот что хотелось бы сказать о теперешних стихах Георгия Иванова», – отмечает книгу Адамович, явственно видя трагически неизбежную ностальгию по утерянному раю, видя экзистенциальную, висельную пустоту «утверждения Ничего» (Бицилли):

*Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво...*

Ищет лирический персонаж Иванова последнюю – космическую – свободу-карму, «...каковую даёт разделённая с богооставленным миром участь» (М. Лопачёва).

Ищет метафизический, поливалентный толстовский выход-травести из катавасии проекций кладбищенских галлюцинаций. И вновь, от невыносимой накипевшей злости, сводящей с ума: к «поборникам свободы», «ревнителям ярма», «хамью и джентльменам», – не прочь бы умереть:

*Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья.*

Но, несмотря на катарсические сны наяву, – в «ящик играть» совсем не хочется. И надо снова жить при наступлении нового дня. И писать... «записывать по памяти», «сводить счёты». Одномоментно целенаправленно пропуская природные характеристики героев – цвет волос, форму глаз, осанку, оттенки голоса – в пользу фактуры ткани и фасона пиджачка на шёлковой подкладке.

В **1938-м** Париж взрывается от парадоксальности «Распада атома» – «грязи, порнографии, непристойности», некропедофилии и ставрогинского садизма, запретных, в общем-то, доселе тем. От могильного заговора молчания в печати и злости-неприятности Набокова с Ходасевичем – до «Литературы с кокаином» А. Бема с констатацией ивановской попытки «сказать последнее,

договорить до конца то, что таится в самой глубине подсознания».

Мережковский же и вовсе назвал поэму «гениальной», обозначив в тексте глубину трагедии души, тоскующей по Высшему. Трагедии, не глядя на приравнивание «метафизического онанизма к реальному», модифицирующей эту тоску – русский миф, – в виде глобального сознания невозможности воплощения красоты в земном агонизирующем бытии, пропитанном и пахнущем рвотой, мочой и кровью, – в основополагающую утопию об «анти-ивановской» красоте – глубинной сущности мира и «преображающей силе бытия».

1950-е гг. На фоне критических референций – декадент, «проклятый» поэт, ничтожный эпигон.

«Васька Розанов в стихах», – он в полной мере нравоописатель-модернист. Новатор. Синхронно – изысканнейший лирик, выносящий места силы и болевые центры в сферу неведомого. В мире же людей и машин восславляя закономерность... случая.

В СССР в ту пору ивановское стенающее: «Над розовым морем вставала луна. Во льду зеленела бутылка вина...», – в исполнении А. Вертинского – звучало с невероятного множества эстрад... Это только раззадоривало враждебность совцензоров, пригибая и морально принижая популярнейшего певца ушедшей эпохи, недавно вернувшегося из «визжащих гудками» и огнями заграничных странствий, покаявшегося и «как бы» прощённого великим кормчим.

Послевоенный Г. Иванов, пишущий в эти годы лучшие стихи, со свойственным ему блеском антиномий, двойственности суждений, нескончаемых «наоборотов», также интертекстуальности (с вплетением «достоевщинки», бурлеска), точнее, центонизации¹, создаёт сам из себя, своего психотипа, фигуры некий миф саморазрушения, сотканный из нищеты, болезней и алкоголя, одновременно не выходя из роли Иванова-«Баронессы» – «на синем белая полоска, граница счастья и беды», прозванного так во времена эгофутуристической юности в честь своей матери – потомственной дворянки баронессы Веры Бир-Брау Брауэр фон Бренштейн. По-тиняковски, в духе «дайте мне ярмо на шею, но позвольте мне поесть», – «перебодлеривая» Бодлера.

¹ Центонизация (от лат. cento – лоскут, заплат) в литературоведении и музыковедении – термин, описывающий целостную композицию как компиляцию из заранее известных (соответственно, словесных и мелодических) типовых формул.

Правда, былая слава первого поэта эмиграции бывшему «лощёному снобу» уже, увы, не помогала.

На одно из последних его выступлений-показов «разъедающе-скепсиса» в Париже пришло около тридцати человек. Невзирая на приверженность старомодным цилиндрам, припомаженным волосам и дорогим жилетам с винным пятном на видном месте, его изношенные прохудившиеся шёлковые платья стали никому не интересны, потому как псковские мужички и чухонки-молочницы «ни в фалдах, ни в голых плечах не нуждались».

Равно ахматовская шаль – у Блока испанская, у Манделыштама ложноклассическая, у Гумилёва жёлто-восточная – к этому времени превратилась в простой «бабий платок», накинутый на зябкие плечи. Будто гоголевская шинель «на петербургском промозглом зимнем ветру в парижских июльских сумерках» (А. Ранчин).

*...Тихо перелистываю «Розы» —
«Кабы на цветы да не морозы»!*

Так скабрёзно и грустно их, «Ахматовой, Паллады, Саломеи», райский Серебряный век, – а для меня, признаюсь: Бриллиантовый, Платиновый до скончания дней... – канул в Лету.

*Падает песня в предвечную тьму,
Падает мёртвая скрипка за ней...
И, неподвластна уже никому,
В тысячу раз тяжелей и нежней,
Слаще и горестней в тысячу раз,
Тысячью звёзд, что на небе горит,
Тысячью слёз из растерянных глаз –
Чудное эхо её повторит.*

...песня, после смерти автора сохранившая и озарившая сон-



мы и сонмы творческих и литературоведческих тайн, автомифов, не разгаданных при жизни. Ища и находя в синем платье возлюбленной ивановского «атома», – символизирующей Россию, – обноски синего плаща блоковской Дамы, превращаясь в её потешную тень. А в звоне «бубенцов издалёка» – кальку с романса имажиниста Кусикова, обращённого опять-таки в блоковскую – кто бы сомневался – «чёрную» музыку.



Вплоть до невероятного разрешения вопроса с хронологией создания сборника «Посмертный дневник» («А что такое вдохновенье?..»), ставшего «катарсисом едва ли не в чистом виде» (Е. Витковский), написанного, точнее, дописанного, оказывается, женой Г. Иванова – Ириной Одоевцевой, опиравшейся в работе на всевозможные разрозненные и разбросанные обрывки, найденные в несчётных блокнотах и книжечках мужа. О чём она поведала уже после триумфального и одновременно трагического возвращения в СССР – в 1987 г.

Но то уже совсем, совсем другая история...

«В моём сознании законы жизни тесно переплетаются с законами сна. Благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, что ещё отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства». Г. Иванов

Г. Киров